

Начало

Раннее нежное летнее солнце всегда было городу к лицу.

В серых пожухлых домах на другой стороне проспекта появилось что-то легкое, бумажное.

Его сапожная будка быстро накалялась. На стеклах цвели пыльные пятна и потеки — не разглядеть толком прохожих. Внутри становилось душновато. Он двинул рукой по щеколде — пихнул дверь. Подпрыгнула и закачалась, стуча об стекло, табличка «Открыто». На тротуаре отскочил парень: чуть не ушибло дверью.

— Эй, старичок, размахнулся! Сам не рассыпся, — рассмеялся парень, поймав скрипучую створку.

«Старик?» — он не удержался, высунулся. Но только и успел, что поглядеть вслед. А туфли-то у наглеца, отметил мимоходом, уже летние, парусиновые. Упруго шлепали. Веселые такие, молодые.

Голову овевал невский ветерок.

Сапожник поглядел на солнце, прижмурился, сердито задвинулся обратно в будку. В станке пяткой вверх был зажат старый жеваный сапог со сбитым каблуком. Под станком валялись другие пациенты всех размеров и мастей, тянуло несильным, но стойким запахом немых ног. Граждане понесли в ремонт зимнее — убирают к лету.

Ковырнул шилом. Каблук совсем негодный. Да и сапог тоже. Ткни — развалится. Раньше такое выбрасывали.

О, это раньше. Много он знал о таких сапогах и их владельцах — раньше?

«Старичок»! Какой же он старик? Не обидно. Потому что неправда. О нем еще можно сказать: за пятьдесят.

И проспект этот, как его, дьявола?.. Володарского. Литейный он! Литейный! Ах, как сверкали на нем фонари перед шикарными доходными домами. Раньше. Как летали огненные рысаки под синими сетками. Раньше.

Вот здесь по соседству у него была холостяцкая квартирка. Маленькая, богат он никогда не был. Собирались по вечерам, свои, полковые. А дамы... Быстроживущие милые мотыльки полусвета. У нее были каштановые волосы. Влажный, арабский, что называется, глаз. Как только другие описывают красивых женщин? Он не умел. Он их боялся. С той подлой историей... После той истории его словно пришибло. Вот кобылу описать — другое дело. Шея плавная. Холка короткая. Спина и поясница прочные. Постав ног правильный. Круп спущен умеренно. Как же ее звали? Кручина? Кинь-грусть? Дочка Силвер Винд и Ретивой. Все, все вспоминается, только начни вспоминать. А Ретивая, чья она была дочь?

Он поднял голову от работы. Но окна домов напротив никак не хотели подсказать. Смотрели в ответ как подслеповатые глаза погано состарившейся

петербургской демимонденки. Ничего они уже не помнили. Бывшие апартаменты стали коммуналками: десять комнат на десять семей, общая ванная, общий туалет, общая кухня, общая мерзость. Даже пахли эти дома теперь как нищие опустившиеся старухи — мочой и ветхой плотью.

А прохожие топали, шаркали, цокали по проспекту мимо. Неразличимые в своей черно-серо-бурой, пыльной, стоптанной копеечной озабоченности. Носки, задники, подошвы. Ни одного элегантного, ловкого, кокетливого... Он с омерзением выругал себя за эту свою новую, такую советскую, имени Володарского привычку первым делом смотреть на обувь. Поднял взгляд. На лица. Но и лица, плывшие мимо, были под стать штиблетам.

Он снова занялся работой. Поддел каблук клыками молотка, шваркнул по ручке ладонью и сорвал его ко всем чертям.

По стеклу постучали.

И снова — проклятая привычка! — он сперва посмотрел именно на туфлю. Лакированный нос встал на порог будки. Пыхнуло сладким и душным. Под нос сунулась квитанция. Он взял, изучил через очки лиловые закорючки. Сверился с полкой. Вернул бумажку.

— Не готовы.

— Как это не готовы?

Туфли новые, без заломов даже — а ступни широкие, лицо непропеченное. И новенькая шляпка не помогала. Баба, манька. Такой никакое ателье «Смерть

мужьям», никакой закрытый распределитель, никакие талоны высокопоставленного мужа, никакой Торгсин — ничто не поможет. Класс-гегемон.

— Не готовы.

Он попробовал закрыть дверь. Лакированный нос не дал. В дверь уперлась мощная рука. «Сложение сырое, с наливками», — профессионально и презрительно отметил он. Таких кобыл браковали. А баба верещала:

— Вчера должны быть готовы! Сволочь, вредитель чертов. При мне тогда делай! С места не сойдешь, пока не сделаешь! Да я тебе покажу! Ты у меня кровью захаркаешь! Гад!

Брань лилась из покрашенного рта. Красная «о», жирный шрифт.

Он таких мильон раз видал. Их он не боялся. Спокойно перевернул табличку: «Закрыто». Снял фартук. Отпихнув бабу плечом, вышел. Демонстративно посмотрел на часы. Под носом у нее навесил замок. Щелкнул дужкой. И пошел по проспекту имени дьявола Володарского. По Литейному. Брань летела вслед, но не долетала.

Чем хорошо быть сапожником — никто не страшен. Работа найдется всегда. А падать ниже все равно уже некуда.

Лестница обтрепалась, как и весь Петербург за годы советской власти. Но даже и такая, пованивающая, изуродованная по стенам масляной краской домоуправа, с давно содранным ковром и загаженными ступенями, оставалась петербургской лестницей. Он замедлил шаг. Прикрыл глаза. Поразительно.

На этой лестнице у него всегда было чувство, что он не поднимается на второй этаж, а выходит из воды. И вода эта смывала всё: проспект Володарского, будку, советские словечки, советские привычки, мерзость, отчаяние, тоску. На площадку второго этажа он вступал уже тем, кем был, — постаревшим, но подтянутым и худощавым отставным поручиком N-ского полка. Любителем рысаков.

Он предпочитал считать себя худощавым. Не тощим.

Дверь в квартиру открылась почти сразу. Будто Александр Афанасьевич поджидал. Обменялись улыбками. Молча прошли по темному захламленному старьем, сундуками, тазами коридору. Мимо дверей, за которыми обитали соседи. Александр Афанасьевич пропустил его в свою комнату. На полсекунды плеснул рокот разговоров и то неопределенное бряцанье, смешки, звон, стук, шорох, которыми всегда сопровождается пир. И дверь опять надежно защитила все эти милые звуки. Мягко чмокнула каучуковая лента-присоска, наложенная по всем четырем сторонам.

Пир уже радостно набрал обороты.

Его все приветствовали. Протягивали ему руки через стол. Полковые товарищи. Только они и не вызывали в нем ужас и отвращение, как все остальные люди, после той истории. Он пожимал руки. Быстро с улыбкой отвечал. Порхали смешки, обрывки разговоров. Он уже отодвигал стул. Ему уже наливали. Стукнулись бокалы. За длинным столом их уместилось больше дюжины. Шум переплетался с сизым табачным дымом.

— Ах, дорогой, повтори это еще раз и громко.

— Господин ротмистр! Еще наливочки?

На тарелках было что-то серое. Еда бедняков. Они все теперь бедняки, мелкая шушера — вахтеры, счетоводы, сторожа. Куда еще возьмут бесправного «бывшего», царского офицера? Зато тарелки, бокалы, скатерть, вилки, ножи — хорошего дома. А воспоминания — подлиннее и живее событий дня. Только и слышалось:

— А помните?..

— Господи, благослови вас, Шура, что вы серьезно занимались музыкой.

— Не меня! Не меня! — крикнул седоватый толстячок Александр Афанасьевич, Шура — князь Одоевский. Однополчанин. — Жену мою покойную. Она, бедная, музыку терпеть не могла. Нервы! Дверь пришлось везти из Италии вместе со скрипкой, — хохотнул он.

Все знали этот секрет: комната предназначалась для музыкальных упражнений хозяина, Шуры, князя Одоевского. Его после революции в нее и уплотнили — как в самую маленькую, скромную, почти бедную. Дуракам-пролетариям в голову не могло прийти, что отделка этой кельи обошлась Одоевскому дороже, чем будуар нервной супруги со всеми финтифлюшками. Стены, пол, потолок, дверная коробка — все было искусно изолировано от прочей квартиры. Тоже итальянский мастер работал, между прочим. Специально выписанный. Не комната получилась, а музыкальная шкатулка. Ни звука не могло из нее просочиться вовне: туда, в эзэсэрию.

— Что, можно и спеть?

И тотчас баритон громко затянул:

— Боже, царя храни! Сильный, державный!

Ткнули в бок, баритон закашлялся. Это вызвало новый взрыв веселья. Незамысловатые уютные шутки.

— Вы прервали большую оперную карьеру!

— Что?

Ему все-таки стало слегка не по себе. Как не по себе может стать человеку на стеклянном мосту: вроде и опора под ногами, но вдруг...

— А это не опасно? — Показал глазами на стены: соседи.

Шура захохотал. И сам же громко подхватил:

— Царствуй на славу нам! Царствуй на страх врагам!

Звон бокалов не дал ему закончить. Радостно сталкивались над столом голоса:

— За тебя, дорогой!.. Ваше здоровье!.. Мир этому дому!.. За музыку! За твою скрипку! Что бы мы все без него делали!.. Эти наши собрания для меня — единственная отдушина... Лишь бы не в последний раз!..

Все тянули друг к другу бокалы. Все чокались. И он протягивал. И он чокался. Но вдруг отвел свой бокал. У толстого человека с круглой седой бородкой в ответ сразу напряглись плечи. Рука так и осталась протянутой, блеснуло пенсне на шнурке. Лицо гостя слегка побледнело, но он сделал вид, что не было оскорбления. Поднял бокал, приветствуя, доброжелательно выговорил:

— Что же это вы, Юрий Георгиевич? Далеко тянуться?

— Нет, — холодно отчеканил он. Голос теперь тоже был другой — настоящий. Не тот, что каждый день отвечал советским гражданам, принимая штиблеты: «Поглядим-с». Его собственный. Каждый звук по-петербургски отчетлив:

— Я с вами, господин Бутович, не имею охоты чокаться.

Никто в звоне, стуке, разговорах не заметил заминки. Но хозяин, Шура Одоевский, уловил сбой в весело и привычно работавшем механизме. Поспешил к обоим с бутылкой.

— У всех полны чаши? Всего вдосталь, господа? — Весело и гостеприимно он поглядывал то на одного, то на другого. Но под гостеприимством сквозила тревога.

— Не знал я, Шура, что ты пригласил сегодня одного нерукоподаваемого господина, видишь ли.

Лицо Бутовича окаменело.

— Полно, Юрий Георгиевич, — выговорил он. — Мы все теперь одно. Стоит ли петушиться?

Юрий Георгиевич вскочил так быстро, что разговор за столом разом умолк. Замерли ножи и вилки, застыли бокалы. Только тоненький дымок струился вверх из неподвижной сигареты в чьих-то пальцах.

— Не одно мы, господин Бутович. Я большевикам не служу. С комиссарами не якшаюсь. В отличие от вас.

— Я служу не большевикам! — разом вспыхнул Бутович. — Я служу лошадям! Если бы я не остался при конном заводе...

— В своем имении. При своем конном заводе, — презрительно поправил его Юрий Георгиевич.

— Я боролся не за свое имение.

— За свою шкуру, — последовало холодно.

— За лошадей! Да, я боролся! За орловского рысака.

Бутович обвел глазами стол, ища поддержки.

— Это... это нечестно. Вы прощаете другим. Карьеру при Советах. А мне — не прощаете? Или здесь другое? Что? Та история? Неужели та история?!

Но едва встретился с чьим-то взглядом, взгляд этот затягивался льдом. Поначалу они еще старались делать вид, что не замечают «слона в комнате», — ради драгоценной редкости их встреч, ради гостеприимного Шуры, ради их прошлого. Но теперь не скрывали чувств. Били презрением.

— Хорошо. Допустим. Признаю. В той истории я перегнул. Но сколько уже можно? Неужели вы не видите главного? Я их спас! Лошади не погибли! Великая русская порода не погибла! Линия великого Крепыша не погибла для России! Потому что я трудился. Боролся! А где все это время были вы, Юрий Георгиевич? Вспоминали своих никчемных американских метисов? Пили горькую и оплакивали судьбу?

Но молчание уже сковало комнату. Даже добродушнейший Шура глядел тяжело и осуждал, одновременно словно извиняясь — уже как хозяин перед гостем — за собственную ненависть.

Бутович встал, бросил салфетку, поймал рукой выскользнувшее стеклышко пенсне. И вышел из комнаты, когда-то давно, в другой жизни обитой итальянским умельцем звуконепроницаемой пробкой.

Вышел обратно в Ленинград 1931 года.

ГЛАВА 1

Ольга Дмитриевна снова переложила большую ватную рукавицу, на этот раз с правого края стола на левый.

— ...И самое возмутительное, что эти так называемые специалисты не смыслят ни-че-го. Вы бы видели, что за материал они привезли! Уму непостижимо! И это на валюту!

Из ее слов Зайцеву следовало самому додумать, что валюту Советское государство в данном случае профукало.

Рукавица была похожа на огромную кухонную прихватку, только намного толще и длиннее. Трудно было представить, что Ольга Дмитриевна натянет ее на свою худую руку и пойдет трепать, кружить на рукавице очередного пса, сомкнувшего челюсти.

Фамилия Ольги Дмитриевны при этом была Кошкина.

— Где они только раскопали этих шелудивых дворняг! — возмущалась она. — Недотепы! Рвутся руководить, а знаний, опыта — ноль.

— Видимо, немецкие товарищи оказались не такими уж товарищами, — миролюбиво отозвался Зайцев. — Раз подсунули дворняг.

Ему не терпелось уйти. Все, что нужно, он от Ольги Дмитриевны уже получил. Список членов и инструкторов клуба служебного собаководства при Осоавиахиме лежал на столе под его рукой. Жег руку.

Кто-то из этого списка был дружен с Алексеем Александровичем, спятившим любителем искусства. Картины он любил больше, чем людей. Картины, которые Эрмитаж продавал за ту самую проклятую валюту. За картины Алексей Александрович убивал людей. Выкладывал их телами мизансцены эрмитажных шедевров. И если бы не полез со своим творчеством на Елагин остров, где товарищ Киров задумал разбить парк культуры и отдыха, так бы и пропадали в Ленинграде люди не за грош, так бы и оседали странные убийства в архиве нераскрытых дел.

Хотя какое уж тут «бы», какое прошедшее время! Самое настоящее: Алексей Александрович не пойман, растворился на просторах советской страны. И даже трупы собак, которыми он травил Зайцева и Нефедова, унесла в Финский залив Нева.

Убийца, которого он остановил, но не поймал.

Убийца, которого он поймает.

Одна зацепка все же осталась: собаки. Идеально выученные служебные псы. Таких в Ленинграде немного. От собаки потянется поводок к человеку.

Таких людей, знатоков собак, еще меньше. Кто-то из этого списка. Тот, кто тренировал собак спятившего эрмитажного убийцы. Или отдал ему выученных псов. Или приручил к нему собак. Или научил его с ними обращаться. Или просто знал — как знают друг друга

любители почтовых марок, редких кактусов, голубей. И породистых псов.

Возможно, Алексей Александрович больше не опасен. Трудится бухгалтером в каком-нибудь Рыбинске. Парк на Елагином благополучно возведен и принимает трудящихся, тешит их культурой и отдыхом. И даже преступление Алексея Александровича оплачено. Другими, невиновными.

Кого-то, например начальника Ленинградского угрозыска, бывшего гэпэушника Коптельцева, это устраивало. Но Зайцев не принимал плату фальшивыми купонами. Не собирался бросать расследование.

Зайцев, не особенно скрывая, поглядел на часы над головой Ольги Дмитриевны. Представил долгую, темную, муторную дорогу обратно в угрозыск. По солнечной слякоти до платформы, потом электричкой от Фарфоровой. Хорошо бы успеть на поезд до того, как из проходной Фарфорового завода хлынет очередная смена. Скрипнул стулом. Вид у Ольги Дмитриевны был интеллигентный, но намека она не поняла. Ее страсть к немецким овчаркам была выше условностей.

Она пылала:

— ...Естественно! А свои глаза на что? Конечно, когда нет знаний, опыта, то о чем речь. Только и достоинств — пролетарское происхождение! — выпалила она. И осеклась. Рука, маленькая и белая, замерла поверх грубой серой рукавицы.

Зайцев поспешил на вырубку — сделал вид, будто не расслышал. Сменил тему. Подсунул ей список.

— Ольга Дмитриевна, а что, вот эти товарищи давно у вас работают?

Та слишком поспешно схватила листки в синих рядках букв. Слишком сосредоточенно принялась читать. Глаза опустила. Только заалевшее ухо выдавало. И еще рукавица — она снова переехала с края на край.

— Грачев, он у нас... Попова пришла после... Коробов начал как... Штиглиц, — бормотала она, — дай бог памяти...

Зайцев уже смирился с тем, что придется давиться вместе с возвращающимися в город работягами. Имена шуршали, сеялись. Усыпляли, как шум дождя. Одно звякнуло особенно увесисто. Зайцев пробудился, сперва решил, что ослышался.

— Эдгар фон Дюренбург? — повторил он.

Кошкина недоуменно подняла лицо: а что? Зайцев внутренне подивился, что на четырнадцатом году революции, после красного террора, чисток, высылки в советском учреждении, каким Клуб служебного собаководства при Осоавиахиме, безусловно, был, еще могли забыть осколок прошлого с таким вызывающим именем.

Кошкина прочла выражение его лица.

— Это ее дог — по кличке фон Дюренбург, — терпеливо-надменно пояснила она. — Первый приз на выставке 1914 года. А хозяйка — Палицына, Наталья Дмитриевна Палицына. Наш инструктор.

По уважению в ее голосе Зайцев понял, что товарищ Палицына могла похвастаться знаниями и опытом, а вот

пролетарским происхождением — совершенно точно нет. Зайцев внутренне усмехнулся, не выдержал:

— Извините. А Штиглиц — тоже дог?

Кошкина одарила его убийственным взглядом.

— Это наш инструктор. Товарищ Штиглиц. Энтузиаст, преданный делу, — отчетливо произнесла она голосом, от которого ложились на брюхо немецкие овчарки и беспородные пустобрехи, по дурости купленные на государственную валюту.

Зайцев не стал додумывать ее вопросами, не тем ли Штиглицам он родственник, Штиглицам-миллионерам и баронам? Вернее, бывшим миллионерам и баронам, бывшим владельцам бывшего дворца в Соляном переулке, ныне здания художественного училища.

Губы товарища Кошкиной сжались в ниточку. Ясно: тем самым.

Зайцев забрал лежавший перед ней список. Убрал за отворот пиджака. Он чувствовал, как в детской игре в «горячо-холодно»: тепло, тепло. Хвостик поводка, который вел к Алексею Александровичу, явно торчал здесь. Одна из синих фамилий. Что ж, найдем этот хвостик — потянем.

Он поблагодарил товарища Кошкину со всей возможной сердечностью.

Зайцев хлюпал по жиже, чувствуя, как спину напекает солнцем.

— Гр-р-па! — па!

Он чуть не взвился на месте. Лохматая собачонка скалилась, норвила тяпнуть за икру. А поделаться ничего не могла — цепь.

— Гр-р-р-па! — па!

Зайцев ухмыльнулся. Таких волкодавов тренируют, а на цепи — черт знает что, скамейка для ног. С опозданием заметил, что ощутил удар гадливого ужаса, когда шавка залаяла. Ужас прошел. Гадливость — нет.

Он не успел в этом разобраться. Позади стукнула фрамуга, и голос Кошкиной громко позвал:

— Товарищ Зайцев!

— Гр-р-р, — не унималось около будки, где-то под ногами. Позванивала цепь.

Он обернулся.

— Вас к телефону, — неестественно пискляво сообщила Кошкина.

Что еще за фокус? Может, о чем-то подумала, передумала и теперь решила поговорить с глазу на глаз? О чем?

Он зачавкал по грязи обратно. Ботинки уже отяжелели от глины.

К его удивлению, черная трубка действительно лежала на столе. Кошкина сделала в ее сторону знак бровями. Демонстративно отошла, мол, не слушаю. Сняла с вешалки и принялась натягивать толстую ватную куртку. Куртка была продрана в нескольких местах, торчала грязноватая вата. Не хотелось вообразить зубы, которые это сделали.

Зайцев остановился с трубкой в руке. Вспомнил шумное звериное дыхание, легкий бег к реке — за ним. Ощущение бьющегося животного в руках. Ледяные объятия реки, еще не сбросившей лед. Серебряные пузыри изо рта.

Кошкина ответила вопросительным взглядом на его слишком долгий.

Зайцев отвернулся, поднес трубку к уху.

— Зайцев. Слушаю.

Он на миг понял, что готов был услышать голос Алексея Александровича.

Ухо защекотал тенорок Крачкина.

— Вася? Хорошо, что застали тебя.

— Я уже еду.

— Пряник разбился, — гробовым тоном произнес Крачкин. И умолк.

— Какой Пряник? — Молчание. — Ты что, пьяный? — попробовал пошутить Зайцев. Но от молчания в трубке веяло чем-то настоящим.

— Поезжай прямо на Семеновский ипподром, — быстро выдал Крачкин.

Разъединили.

— Все в порядке? — вежливо спросила товарищ Кошкина, застегивая петли своей чудовищной куртки.

* * *

Крачкин не только был совершенно трезв, но даже не шутил. Все лицо его, вся фигура словно подобралась и сжалась. Он был расстроен. Видно было даже издали, едва Зайцев спрыгнул с трамвая у бывшего Семеновского плаца.

Там еще до революции разбили ипподром: поставили павильон, сколотили трибуны, насыпали беговые дорожки.

А еще раньше — вешали людей. Политических преступников.

Крачкин поджидал у входа. Махнул рукой.

Зайцев подошел. В несколько мгновений он перелистнул свою память, как перелистывают одним движением книгу — фр-р-р-р. Но не припомнил никого по кличке Пряник. Ни вора, ни притонщика, ни бандита, ни беспризорника, ни морфиниста, ни скупщика краденого, ни мелкого жулика. Ни жучка-букмекера.

На ипподроме играли — по-крупному, по-мелкому и совсем уж микроскопически, деля одну рублевую ставку на двоих. Ставили официально — в кассах. И неофициально — у тут же вертевшихся жучков. Эту компанию Зайцев не знал. Здесь облапошивали, да, но не убивали, потому вторая бригада этой публикой не занималась.

— А нас-то почему вызвали?

— Хоть «здрасьте» бы сказал.

— Здравствуй, Крачкин.

— Ты подумай, — пробормотал Крачкин, пропуская его вперед. И огорченно покачал головой.

На полу пустых трибун сквозняк гонял бумажную поэмку. Смятые, разорванные билетки битых ставок валялись повсюду. Зайцев пнул ногой бумажные хлопья.

— Играют, — подтвердил Крачкин.

Казино в городе позакрывали совсем недавно, вместе с нэпмановскими ресторанами и прочими злачными частными лавочками. Но азарт за пару лет из граждан выветриться не успел. Ипподром, вернее его тотализатор, остался единственным в Ленинграде местом, где

всякий, не только оперный Герман, мог убедиться, что наша жизнь игра и сегодня ты, а завтра я.

Маячила фигура милиционера в форме, выставленного на всякий случай.

Зайцев уже видел свернутый остов коляски, беспомощно задравшей два искалеченных колеса. Наездник в полосатой куртке лежал лицом вниз.

Его можно было принять за брошенный с большой высоты манекен. Руки врозь, ноги носками наружу. На лицо осела пыль, моментально свалившаяся в крови. Бахнула магниевая вспышка рядом, запечатлевая положение тела. Но Зайцев уже и так впитал все детали. Он замедлил шаг. Хотел присесть рядом с телом. Но Крачкин вдруг толкнул его: дальше, мимо. Там уже стояли все. Зайцев удивленно повиновался. Подошел.

Люди расступились, впустили его. Крачкин присел к плоской горе, накрытой простыней. Скорбно и бережно отвел край полотна.

— Какая потеря, — покачал он головой. — Какая удивительная лошадь.

Зайцев увидел острые уши, разметавшуюся гриву на мощной шее в потеках высохшего пота, огромные ноздри на лепной голове. Медно-коричневый блеск шкуры наконец осветил в его памяти нужный факт. Перед ним лежал легендарный рысак по кличке Пряник — данной, как легко догадаться, за масть.

Резкий угол, под которым была повернута голова, говорил, что шея лошади сломана.

Зайцев нахмурился.

— Какая потеря, — повторил Крачкин.

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru